

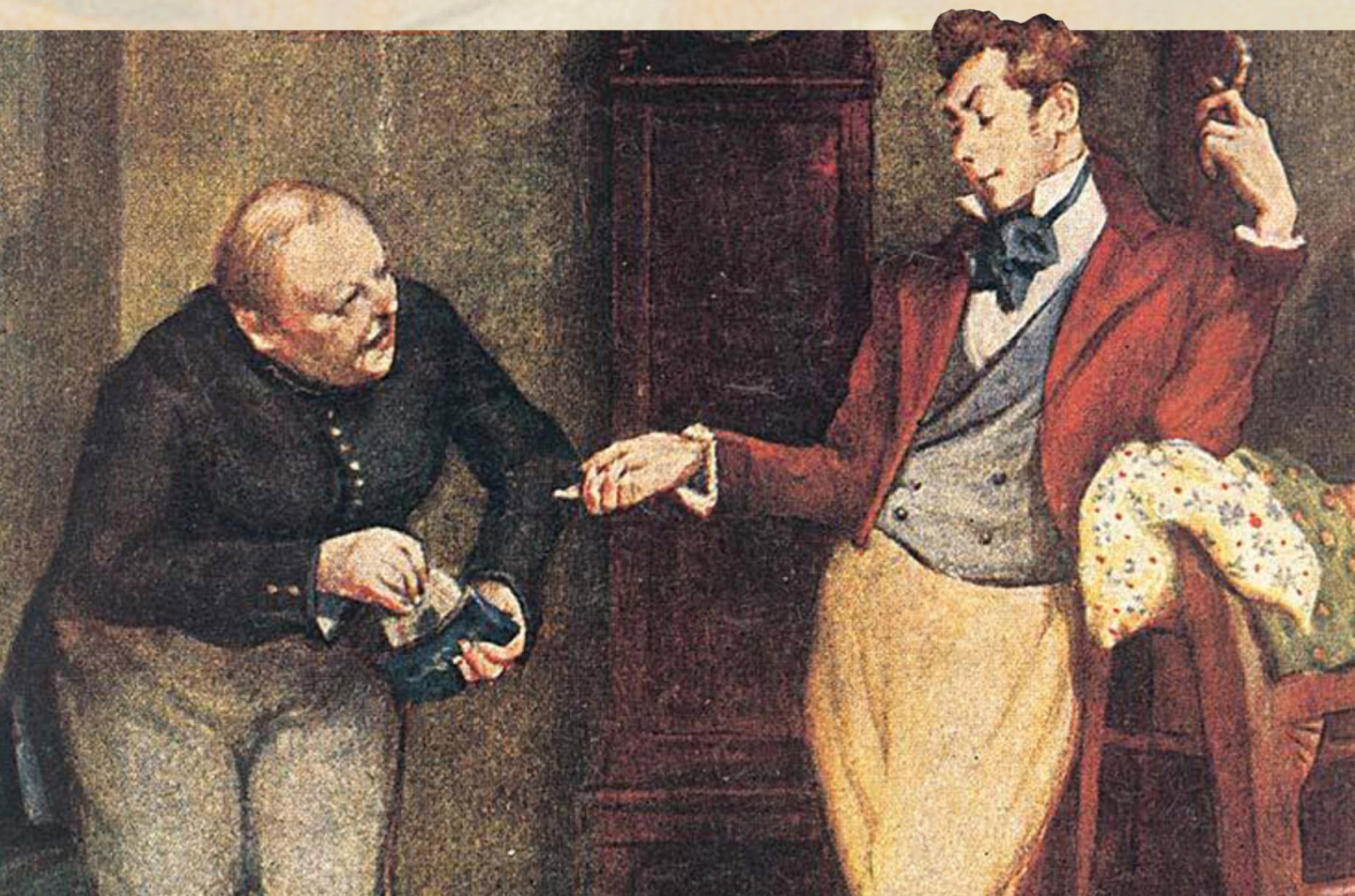


Джиллиан Портер

Экономика чувств

Русская литература
эпохи Николая I

Политическая экономия и литература



Современная западная русистика

«Современная западная русистика» /
«Contemporary Western Rusistika»

Джиллиан Портер

**Экономика чувств.
Русская литература эпохи
Николая I (Политическая
экономика и литература)**

«Библиороссика»

2017

УДК 82.02
ББК 83.3(2Рос=Рус)

Портер Д.

Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I
(Политическая экономия и литература) / Д. Портер —
«Библиороссика», 2017 — («Современная западная русистика» /
«Contemporary Western Rusistika»)

ISBN 978-5-6043579-6-5

В центре исследования Джиллиан Портер стоит понятие «амбиция», пришедшее в русскую литературу в начале XIX века из постнаполеоновской Франции путем «культурного заражения». Объектом изучения становится несовпадение как культурно-исторического контекста, так и семантического объема слов *ambition*, *амбиция* и *честолюбие* во Франции и в России, что в некотором смысле стало источником нового развития в русской литературе. Другими темами становятся экономический характер гостеприимства в произведениях Гоголя, деньги как двигатель фантастического реализма Достоевского, и представление типа скупца в произведениях русской классики. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82.02
ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-6043579-6-5

© Портер Д., 2017
© Библиороссика, 2017

Содержание

Слова благодарности	6
Примечание к тексту	8
Введение	9
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Джиллиан Портер
Экономика чувств. Русская
литература эпохи Николая I
(Политическая экономия и литература)

Jillian Porter

Economies of Feeling

Russian Literature under Nicholas I

Northwestern University Press

Evanston, Illinois

2017

Перевод с английского Ольги Поборцевой



© Jillian Porter, text, 2017

© Northwestern University Press, 2017

© О. М. Поборцева, перевод с английского, 2020

© Academic Studies Press, 2021

© Оформление и макет ООО «Библиороссика», 2021

Слова благодарности

Прежде всего я хочу поблагодарить Харшу Рама, научного руководителя моей докторской диссертации в Калифорнийском университете в Беркли, чье чувство языка и пронизательные замечания вдохновляли меня и обогатили работу над этой книгой на всех ее этапах. Ирина Паперно, исключительный наставник и читатель моей диссертации, стала для меня эталоном научной строгости, к которому я всегда буду стремиться. Любовь Гольбурт и Виктория Бонелл познакомили меня с теоретическими парадигмами, которые стали центральными и в моей диссертации, и в последующих исследованиях в области русской литературы и культуры. Сотрудники факультета в Беркли щедро делились комментариями по поводу моих научных статей и презентаций, положенных в основу этой книги, – спасибо вам, Энн Несбет, Эрик Найман, Ольга Матич и Виктор Живов. В процессе написания книги мне очень помогли отзывы моих коллег-аспирантов, особенно Элисон Тэпп, Бориса Маслова, Виктории Сомовой, Молли Брансон, Хлои Кицингер.

Большая часть главы 3 изначально была опубликована в виде статьи в «*Slavic and East European Journal*». Я благодарна Айрин Делич, Хелен Хальве и анонимным рецензентам SE EJ за их авторитетную редакторскую и критическую оценку. Также выражаю благодарность Майку Левину и всем сотрудникам Отдела исследований в области русской литературы и теории Northwestern University Press за их высочайший профессионализм, а анонимным рецензентам рукописи – за вдумчивое прочтение и ценные предложения по ее улучшению.

Публикация моей книги на русском языке дает приятный повод выразить признательность за сотрудничество новым участникам: переводчице Ольге Поборцевой, Константину Богданову, который оставил ценный отзыв о первоначальной версии перевода, редактору Ирине Знаешевой и другим членам команды Academic Studies Press.

Мои исследования финансировали Институт гуманитарных исследований Университета штата Аризона, Центр российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета, Джордан-центр при Нью-Йоркском университете, Университет Оклахомы и Университет штата Колорадо. Эмили Джонсон и другие коллеги из Университета Оклахомы дали очень важные советы в период моего становления как профессионального ученого. Джулия Абрамсон прочитала рукопись целиком и помогла мне увидеть – и усилить – связи между ее отдельными частями. Виктория Э. Томпсон из Университета штата Аризона, специалист по истории Франции эпохи Революции, прочитала главу 1 и поделилась своим профессиональным мнением, а моя усердная ассистентка Хизер Экерман помогла составить окончательный вариант библиографии, сэкономив мне множество времени и усилий. Центр Дэвиса заряжал меня энергией, когда я заканчивала эту книгу и начинала новую. Там я получила ценные критические замечания относительно Введения и главы 2 от сотрудников и приглашенных экспертов, среди которых хотела бы выделить Андрею Цинк. Также мне очень повезло работать еще с одним великолепным ассистентом – Кристин Джекобсон, которая помогла получить права на многие из иллюстраций для моей книги. Молли Брансон, Юрий Бойко и работники архивов и музеев также помогли сделать так, чтобы эти иллюстрации появились в моей книге.

Я счастлива выразить свою благодарность Мелиссе Фрейзер из колледжа Сары Лоуренс, которая научила меня говорить по-русски и направила в Беркли; она вдохновляла меня с первых дней и не оставляла своим вниманием мою работу. Гил Перес из колледжа Сары Лоуренс первым привлек мое внимание к истории и культуре России захватывающими лекциями о советском кино, Дэнни Кайзер увлек меня Достоевским, а Фрэнк Рузвельт зародил интерес к экономике. Во время семестра, который я провела в колледже Рид, Лена Ленчек на своем увлекательном курсе о русской прозе познакомила меня со многими авторами и темами, к которым я обращаюсь в этой книге. Но я никогда не получила бы возможности обучаться у них

и у других замечательных преподавателей, если бы не анонимный спонсор, благодаря которому я смогла в 1995 году перейти в школу Фаунтин-Вэлли. Я очень обязана этому человеку за его помощь в моем становлении как ученого. Я также благодарна Джеку Уилсону, чей Фонд международного профессионального обмена спонсировал мою первую поездку в Россию; Игорю Толочину, благодаря которому эта поездка прошла очень успешно; и Валентине Петровне Гетманской, которая гостеприимно распахнула передо мной двери своего дома и познакомила меня со многими своими друзьями.

Больше всех меня всегда поддерживала моя семья. Мои родители убедили меня, что образование – путь к счастью, и всегда внушали мне веру, что я смогу достичь чего угодно, если буду усердно трудиться. Мои дедушки и бабушки щедро оделяли меня теплом и мудростью. Теща и тесть много раз принимали меня под своей крышей, чтобы я могла спокойно работать над книгой. С женой я познакомилась, когда впервые занялась исследованиями, результатом которых и стала эта книга. Я не могу выразить, как благодарна ей за ее любовь и тонкую критику черновиков рукописи.

Примечание к тексту

Все даты в книге приводятся по григорианскому календарю, если нет указания «по старому стилю».

Орфография во всех случаях приведена к современным нормам, но сохраняется авторская пунктуация.

Основными источниками текста художественных произведений явились следующие издания:

Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука (Лен. отд.), 1972–1990.

Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 7 т. / под общ. ред. С. И. Машинского и М. Б. Храпченко. М.: Художественная литература, 1976–1978.

Пушкин А. С. Поли. собр. соч., 1837–1937: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.

Введение

*Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И деньги отдавал в залог.*

А. С. Пушкин¹

Отец Онегина был не единственным, кто не понимал сыновних толкований политэкономии. Комментаторы приведенного отрывка из «Евгения Онегина» (1825–1832) вели длительные дискуссии относительно *«простого продукта»*, ценимого героем произведения выше золота. Тем не менее, выделенный курсивом термин, обозначающий некий заветный постулат Адама Смита, никогда не встречался в его трудах. Исследователи, начиная от К. Маркса и Ф. Энгельса и заканчивая В. В. Набоковым и Ю. М. Лотманом², интерпретировали значение этого термина по-разному: «товар», «сырьевой материал», «излишек» и даже (самое отдаленное толкование, однако наиболее частотное в литературных комментариях) «чистый продукт» (*produit net*), о котором писали физиократы, французские предшественники Смита. Для целей данного исследования именно отсутствие этого термина в корпусе текстов классической политэкономии составляет суть: *«простой продукт»* являет собой пример творческого заимствования иностранного экономического вокабуляра, характерного для ключевых произведений русской литературы XIX столетия. Для землевладельцев вроде Онегина-старшего уроки Адама Смита казались непостижимыми, но для таких художников, как Пушкин, сама их нечеткость становилась источником поэзии.

В приведенном выше отрывке Пушкин обыгрывает предполагаемое противоречие между экономикой и поэзией. По мере того как в Европе конца XVIII века дискурсы эстетики и политэкономии укреплялись в оппозиции друг к другу, главным принципом каждой из них становилась антиномия между эстетическими и экономическими ценностями [Guillory 1995: 317]. К началу XIX столетия политэкономия зарекомендовала себя как наука рассудочная, основанная на том принципе, что главные действующие лица экономической деятельности – это разумные индивиды, преследующие собственные «интересы» [Смит 2016]. Эстетика же выделилась в науку об основанном на чувствах, намеренно «незаинтересованном» опыте и суждениях [Кант 1994]. И хотя на первый взгляд может показаться, что предпочтение, которое Евгений Онегин отдает Адаму Смиту перед Гомером и Феокритом, подкрепляет подобную антиномию, на самом деле его интерес к экономике скорее вопрос стиля и эмоциональных установок: он моден, как облачение молодого денди, и вносит дополнительный штрих в его образ скучаю-

¹ [Пушкин 1937а: 8].

² См. [Маркс 1959: 158; Энгельс 1962: 29; Набоков 1999: 57; Лотман 1995: 558]. Российский экономист А. В. Аникин рассматривает эти и другие интерпретации пушкинского «простого продукта» в своей книге «Муза и мамона. Социально-экономические мотивы у Пушкина», см. [Аникин 1989: 17–20].

щего байронического героя. Суждения Евгения совмещают русифицированную версию европейских дискурсов об экономике, эстетике и эмоциях.

Поэтизация идей политической экономии, подобная пушкинской, является смысловым ядром этой книги. Последующие главы исследуют трансформации европейской экономической и эмоциональной парадигм в русской литературе XIX века. Я рассматриваю мотивы траты, накопления, дара наряду с сюжетами о безумной или подавленной амбиции³ (*ambition*) в контексте русской экономической и культурной истории. Исследование опирается на идеи «новой экономической критики» (*New Economic Criticism*) и взгляды литературоведов, социологов и историков, труды которых способствовали недавнему «эмоциональному повороту» в гуманитарных науках⁴. Эти научные концепции сделали очевидным для меня взаимное пересечение явлений и связанных с ними дискурсов в сфере экономики и эмоций и прояснили мое понимание множества способов, посредством которых литературная форма одновременно запечатлевает и формирует экономический и эмоциональный опыт⁵. Вычерчивая линии пересечений между коммерческими отношениями и обменом дарами и прослеживая сдвиги культурных понятий амбиции, щедрости и корысти, я показываю, что неденежные и непроектные обменные отношения и чувства, которые экономическая наука обычно не принимает в расчет, неразрывно связаны с социальными и экономическими структурами⁶.

Исторические рамки книги – царствование Николая I (1825–1855), время суровой цензуры, экономической неопределенности и вместе с тем расцвета русской литературы. Это были также годы широкого распространения коммерческих отношений, которые разрушали основы аграрной экономики: деньги, наряду с крепостными, превратились в основную ценность; всегда нуждавшиеся в наличных средствах помещики закладывали свои имения казне, а правительство напечатало столько бумажных денег, что обрушило стоимость государственной валюты. Одновременно из газет и книг до русских читателей доходили отзвуки экономических перемен, происходивших в Европе после наполеоновских войн, и перед обществом встал главнейший вопрос: должна ли Россия следовать иностранным реформаторским тенденциям в экономике и политике⁷.

³ Автор и переводчик в равной степени испытывали трудности, вызванные разницей культурно-исторических контекстов и несовпадения объема значения ключевого для этой книги понятия «амбиция» в русском, английском и французском языках. В русском языке едва ли найдется идеальный вариант перевода для английского и французского слова *ambition*. Ближайшие русские эквиваленты – «амбиция», «честолюбие» – содержат негативные коннотации, несвойственные для английского и французского языков. Поэтому было принято следующее решение: слова «амбиция» и «амбициозный» используются в общем случае для перевода английского и французского слова *ambition* ('желание возвыситься') и его производных: английского *ambitious* и французского *ambitieux*, а также в значениях, вероятно, более привычных российскому читателю ('самолюбие', 'спесь'), когда речь идет об истории этого слова и разных его коннотациях в литературе XIX века. Когда автор обращается к обсуждению близкого понятия «честолюбие», для перевода *ambition* эквивалентом все же выступает «амбиция», но «честолюбие» предпочтительнее, когда рассматривается эта специфическая репрезентация амбиции. Слово «честолюбие» используется лишь только, когда речь идет об этом термине и его коннотациях. И «честолюбец», и фраза «амбициозный человек» используются для перевода французского *ambitieux*. – *Примеч. пер.*

⁴ Наиболее значительные исследования в контексте методологии «новой экономической критики»: [Shell 1978; Goux 1990]. Полезные обзоры в этой области знаний см. [Osteen, Woodmansee 1999: 3–50; Poovey 2008: 10–14]. Оказали особое влияние на мою работу изучения эмоций: [Massumi 1995: 83–109; Reddy 2001; Sedgwick 2003; Ngai 2005; Gould 2009; Frevert 2011; Emotional Lexicons 2014]. Осмысление «эмоционального поворота», оказавшего серьезное влияние на русистику, представлено в статьях Я. Плампера и И. Веницкого [Plamper 2009: 229–237; Веницкий 2012: 441–460].

⁵ В анализе связи экономики и эмоций я пользовалась социологическими исследованиями Э. Гофмана, В. Зелизера, А. Р. Хохшильда [Гофман 2009; Зелизер 2002; Hochschild 2012], где изучено влияние эмоционального опыта на классовые, гендерные и коммерческие взаимосвязи в американском консюмеризме. Важным также был опыт анализа роли чувств в классической политической экономии, представленный Э. Ротшильдом и К. Галлахером [Rothschild 2001; Gallagher 2008].

⁶ Эта мысль акцентирует одну из общих целей этой книги: дать историю понятий. В частности, меня вдохновили труды об истории идей, понятий и слов: [Lovejoy 1936; Hirschman 1977; Koselleck 2002; Виноградов 1995; Живов 1966; Живов 2009].

⁷ О неоднозначном отношении Николая I и его министров к вопросу об индустриальном развитии см. [Pintner 1967: 29, 91–93, 123].

В подобной атмосфере ценностных сдвигов русские писатели начали обращаться к литературному и художественному потенциалу экономики. Они придали новый смысл сюжету об амбиции, свойственному послереволюционной Франции, типу скупца и другим литературным моделям, которые были укоренены в реалиях и повествовательных традициях буржуазной Европы; эти модели казались чужеродными в повествованиях о русском обществе в условиях самодержавия и крепостного права. Подобные иностранные модели противоречили идеологии общественного расслоения и идеалам щедрости и сельской праздности, которые традиционно питали представления о русской национальной идентичности. В «Экономике чувств» вы увидите, как подобное противоречие вызвало к жизни некоторые из наиболее замечательных свойств русской литературы XIX века – от неуклонного затухания сюжетов об амбиции до резкого диссонанса полифонических романов Ф. М. Достоевского⁸.

При Николае I русская литература претерпевала глубинную трансформацию и подъем. Именно в эту эпоху Пушкин сформировался как зрелый писатель, в полную силу расцвел талант Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова, дебютировали в литературе Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой. Литературная критика становилась главной движущей силой интеллектуальной жизни; литературные институты постепенно трансформировались – от системы покровительства и тесно связанной культуры поэтического салона к расширению читательской аудитории, росту книготорговли и возможностей для авторов и издателей получать прибыль от литературных занятий⁹. Книга обращается к изучению этих значимых и широко признанных изменений с новой точки зрения. В существующих трудах о русской литературе XIX века ее периодизация традиционно связана с гранд-персоной («пушкинская эпоха»), культурными мифами («золотой» и «серебряный» века) и литературными направлениями (романтизм, реализм, символизм) или развитием конкретных литературных форм (проза, роман). Я же предполагаю, что нарастающее ощущение неопределенности и все более напряженная полемика о политическом и экономическом будущем России отметили литературу эпохи Николая I общностью форм и тем, пронизывающей все стили и жанры. Более того, хотя экономическая критика русской литературы в основном обращается к ситуациям участия авторов и редакторов в литературных кружках и в процессе коммерциализации литературного творчества, я считаю, что аспекты экономики, не столь тесно связанные с собственно литературой, оказали на нее не менее важное определяющее влияние¹⁰.

Одна из центральных идей моего исследования – это утверждение, что трудности, с которыми сталкивалась крепостническая экономика России в последние десятилетия своего существования, оказались плодотворными нарративными парадигмами. Некоторые из этих трудностей были вполне материальными / денежными: к примеру, расточительные траты, ускорявшие разорение дворянства, и высокая инфляция, подорвавшая стоимость бумажного рубля. Дру-

⁸ Делая упор на экономические противоречия, определившие этот период русской литературы, я следую за М. М. Бахтиным, который в «Проблемах поэтики Достоевского» отмечает, что «особо острые противоречия раннего капитализма в России» обеспечили идеальные исторические условия для возникновения полифонического романа [Бахтин 2002: 45].

⁹ В фундаментальных трудах, например в монографиях «Словесность и коммерция. Книжная лавка А. Ф. Смирдина» [Гриц и др. 2001] и «Fiction and Society in the Age of Pushkin» [Todd 1986], подробно рассматривается трансформация литературных институтов в 1830-е годы. Анализ реакции Гоголя и Достоевского на эти изменения, воплощенной в их творчестве, также представлен у А. Менье, Э. Лонсбери и У. М. Тодда. В комплексе эти исследования демонстрируют не только трансформацию литературных обществ в указанный период, но и остроту дебатов в периодике, спровоцированных этими переменами [Meunieux 1966; Lounsbury 2007; Todd 2002]. М. Фрейзер указывала, что полемика о литературе – одна из немногих деталей, которые достоверно описывают процесс профессионализации писательской деятельности, поскольку большая часть доступной информации о чтении и продаже книг содержится собственно в художественном или публицистическом тексте. Считая «литературный рынок» продуктом романтического воображения, Фрейзер подчеркивает бросающуюся в глаза взаимосвязь эстетической и экономической теории и практики в тот период [Frazier 2007: 41].

¹⁰ Делая подобное заключение, я следую за Ю. М. Лотманом и Р. С. Валентино, в работах которых исследовалась литература начала XIX века в контексте некоторых экономических факторов: дворянской культуры расточительности, азартных игр и долгов и распространения коммерции [Лотман 1995: 491–495; Лотман 1975; Valentino 2014].

гие – скорее можно назвать концептуальными или эмоциональными: например, изменение общественных установок по отношению к таким «экономическим» страстям и побуждениям, как амбиция, корысть и щедрость¹¹. Еще один вызов социальной и экономической стабильности России касался текстов – поток новостей и литературы из Европы с описанием политических потрясений и поразительного развития коммерции и промышленности заставлял думать и чувствовать по-новому, иначе писать об экономике. Авторы, произведения которых я исследую, используют неустоявшиеся и неуместные на первый взгляд заимствованные экономические термины и понятия. Как можно видеть на примере эпиграфа из «Евгения Онегина», они не просто пытались подражательно представить местные экономические условия, но и вольно обращались с адаптациями европейских экономических моделей. Несоответствие между иностранными и отечественными экономическими реалиями стало источником русской поэтики¹².

В своем исследовании я приняла за аксиому отсутствие четких границ между объектами, словами и чувствами в рамках экономики материальной и экономики текстуальной. Подходящей эмблемой тут может служить монета: кусок металла только тогда начинает выполнять функцию денег, когда на нем обозначат официально объявленную стоимость и когда его можно использовать для исполнения своих желаний. Возьмем серебряный рубль ограниченного выпуска, представленный на рис. 1а и 1б. Эта монета 1836 года посвящена победе Александра I над Наполеоном Бонапартом в 1812 году и открытию в 1834 году Николаем I Александровской колонны на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Подтверждая стремление властей управлять чувствами граждан – наряду с экономикой, – монета буквально указывает россиянам, что они должны ощущать: благодарность.

¹¹ О кризисе денежной системы и реформах в николаевскую эпоху см. [Кашкаров 1898].

¹² Я использую термин «поэтика» в базовом значении «творческих принципов, определяющих любую литературную, культурную или общественную структуру» [Oxford English Dictionary 2016].



Рис. 1а. Серебряный рубль в память победы Александра I над Наполеоном и открытия Николаем I Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1834 году. Выпущен в 1836 году. Аверс: портрет Александра I с надписью «Александр Первый Б(ожьей). М(илостью). Император Всеросс(ийский)». Фото любезно предоставлено Национальной нумизматической коллекцией Национального музея американской истории Смитсоновского института. Воспроизведено с разрешения Смитсоновского института



Рис. 16. Серебряный рубль в память победы Александра I над Наполеоном и открытия Николаем I Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1834 году. Выпущен в 1836 году. Реверс: Александрийский столп, текст: «Александрю Первому от благодарной России. 1834. 1. рубль.». Фото любезно предоставлено Национальной нумизматической коллекцией Национального музея американской истории Смитсоновского института. Воспроизведено с разрешения Смитсоновского института

Надпись на монете «Александрю Первому от благодарной России» цитирует слова с пьедестала колонны, этого впечатляющего архитектурного шедевра, который остается одной из самых высоких триумфальных колонн в мире. Эта монета – памятник памятнику, который знаменует собой одновременно и культурно-технологическую, и военную победу, показывая россиян «благодарными» и прежнему, и нынешнему правителю. Примечательно, что подобный язык благодарности превращает деньги в дар: как памятный знак щедрости царской династии, который можно носить с собой, монета расширяет мемориальное пространство Дворцовой площади до размеров всей империи. Аббревиатура «Б. М.», то есть «Божьей милостью», освящает право царя награждать свой народ отечаненными деньгами.

Несмотря на откровенно патриотический замысел дизайна, эта монета представляет собой столкновение устремлений, характерное для того времени. Неоклассическая эстетика портрета и памятника представляет самого Николая I как последнего по времени и самого влиятельного преемника европейской имперской традиции. И в то же время, хотя и непреднамеренно, признает непреложное главенство в России французских культурных парадигм:

и неоклассицизм как направление в искусстве, и автор Александровской колонны родом из Франции¹³. Монета показывает, что от Наполеона можно было избавиться, а от французского культурного влияния – нет. Как мы увидим далее, противоречие между националистической / имперской политикой и эстетическим наследием галломании, одобренной властью в XVIII веке, стало формирующим фактором для литературы николаевского времени.

Медная копейка 1840 года, представленная на рис. 2а и 2б, отражает еще одно продуктивное напряжение между экономикой и эстетикой – на этот раз в сфере обращения. Копейка была отчеканена в период обострения финансовой нестабильности, когда старые денежные стандарты и формы заменялись новыми. На аверсе изображена корона над первой буквой имени царя и цифра его тронного имени, чтобы заверить людей в ценности денежного знака и склонить их – через денежный обмен – к повиновению экономическому и политическому порядку.



Рис. 2а. Медная копейка. 1840 год. Аверс. Фото любезно предоставлено Национальной нумизматической коллекцией Национального музея американской истории Смитсоновского института. Воспроизведено с разрешения Смитсоновского института

¹³ Создателем Александровской колонны был архитектор О. Монферран.



Рис. 26. Медная копейка. 1840 год. На реверсе надпись «1 копейка серебром. 1840. Б(ожьей). М(илостью).». Фото любезно предоставлено Национальной нумизматической коллекцией Национального музея американской истории Смитсоновского института. Воспроизведено с разрешения Смитсоновского института

Но также монета дает людям возможность трогать руками и даже портить знак царской власти. Истертая буква в самом центре оборотной стороны (буква «ять» в слове «копейка») дает возможный ответ на интригующий вопрос: почему Николай I никогда не позволял размещать на монетах свое изображение. Ценность, обозначенная на монете, подвергается воздействию тех, кто ею обладает, и обстоятельств, при которых она переходит из рук в руки, и именно эта сочетанная сила воздействия создателей, владельцев и условий определяет ее окончательную значимость. И эта черта – возрастающая сложность опознания и оценки – сближает монеты и слова, значение которых под напором употребления меняется с течением времени.

Последующая история александровского рубля и николаевской копейки подтверждает трансформацию смыслов, характерную и для монет, и для слов. Сколь бы различным ни было их изначальное предназначение, и памятный рубль лимитированной чеканки, и обычная копейка массового обращения в итоге оказались у великого князя Георгия Михайловича (1863–1919), известного нумизмата, собравшего самую крупную в мире коллекцию российских монет, а после ставшего жертвой тех же революционных сил, что заменили короны на денежных знаках серпом и молотом и изъяли из употребления устаревшую «ять». Увлечение великого князя коллекционированием дало старым монетам новую ценность и новое употреб-

ление – в качестве любопытных вещей, произведений искусства, исторических артефактов, которые можно хранить и демонстрировать.

Для моей книги в равной степени ценны монетарный, эстетический и эмоциональный аспекты денежных знаков и их информационных составляющих. Однако главный упор здесь делается не только на взаимосвязи этих аспектов внутри России, но также и на пути их проникновения извне.

Рассмотрим определение слова *экономия*, данное в «Новом словотолкователе» (1803–1806). Этот словарь, опубликованный для разъяснения слов иностранного происхождения, которые вошли в российский лексикон, но остались неизвестными для многих русских читателей, указывает дворянам-помещикам, как нужно понимать смысл экономии:

Экономия, рассуждаемая яко мудрое управление имением, есть из первейших качеств, которое надлежало бы благовременно внушать детям. Она есть одно из главнейших оснований их славы и благоденствия, и состоит из распоряжения своих дел таким образом, чтобы расход соответствовал приходу, и чтобы никакое излишество не имело места <...>. Но, наблюдая правила благоразумной экономии, должно беречься, дабы не впасть в постыдную скупость, порок, заражающий обыкновеннее стариков. Экономия тогда только может почитаться добродетелью, когда она будет занимать среднее место между расточительностью и скупостью [Новый словотолкователь 1806, 3: стлб. 1229–1231].

Здесь мы видим экономический идеал как гармоничный баланс между расходами и доходами, а также между эмоциональной склонностью к расточительности и скупости.

Важно то, что данный идеал не имеет ничего общего с извлечением прибыли. Выступая против всяческих «излишеств», автор не оставляет возможности ни для долгов, ни для сбережений. И тем не менее, признавая в самом начале словарной статьи, что русские дворяне более склонны к «мотовству», чем к осуждаемой «постыдной скупости», автор ясно дает понять, что излишнее мотовство, хотя и более приемлемо в обществе, представляет материальную угрозу в России начала века в большей степени. Напротив, скупость представлена не столько реалией российской помещичьей экономики, сколько понятийным конструктом: приписывая ее «старикам», автор вызывает у читателя характерный образ классического скупца, чья страсть к деньгам – один из самых частых пороков, изображаемых в европейской литературе. Обращаясь к традициям как русской культуры, так и европейской литературы, это определение демонстрирует ситуацию, в которой экономические идеи – как и экономические практики – определяются моральными, эмоциональными и эстетическими нормами, российскими и иностранными.

Экономические нормы, представленные в «Новом словотолкователе», при Николае I пользовались возрастающим вниманием литераторов. Пушкин подчеркивает страсть к мотовству в дворянской среде, рисуя образ отца Евгения:

Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец

[Пушкин 1937а: 6].

Молодой Онегин следует примеру безудержных трат отца. Его гардероб полон иностранной роскоши:

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтийским волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, —
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет

[Пушкин 1937а: 14].

Наряду с разорительной склонностью к гостеприимству, пример которого подавал отец Евгения, приобретение все растущего потока европейских товаров с конца XVIII века сыграло свою роль в обеднении русского дворянства [Kahan 1966]. Пытаясь получать больше денег, чтобы держаться на уровне стандартов растущего потребления, при этом редко давая себе труд заняться повышением прибыльности своих имений, дворянство поступало в точности как Онегин-старший, который закладывал земли в казну. В итоге к середине XIX века более половины земель во владении дворян перешли к государству [Pintner 1967: 44]. После смерти помещика-должника его наследник был обязан либо взять на себя бремя выплаты долгов, либо (менее почетный, но вполне обычный исход) лишился собственности [Лотман 1995: 491–495]. Выбрав последнее, Онегин становится воплощением исторического процесса, в ходе которого дворяне постепенно лишились и своих земель, и традиционной роли в обществе. Чем бы ни был тот «простой продукт», о котором он толковал отцу, именно традиция расточительности русского благородного сословия, а вовсе не принципы Адама Смита, определяет отношение Евгения к экономике.

Когда в феврале 1825 года вышла в свет первая глава «Евгения Онегина», никто не мог даже предположить, что она может быть соотнесена с историческими событиями, которые потрясут Россию спустя месяцы и годы. Только после того, как группа офицеров, вдохновленных частично сочинениями Адама Смита, 26 декабря попыталась помешать восшествию на престол Николая I, читатели Пушкина смогли узнать его обуреваемого скукой «эконома» если не среди участников заговора, то, по крайней мере, среди круга их друзей¹⁴. Онегин, которого задним числом стали ассоциировать с декабристами, за десятилетия, прошедшие после публикации романа, эволюционировал в олицетворение бессилия русского дворянства.

То, что Пушкин первым изобразил как дань моде (байроническая скука), превратилась у М. Ю. Лермонтова в «Герое нашего времени» (1840) в жестокий цинизм, порожденный невозможностью реализации маскулинной агентивности в постдекабристскую эпоху. В последующие годы экономические последствия бездействия дворянства стали еще более острыми. В романе И. А. Гончарова «Обломов» (1849–1859) праздный молодой помещик пренебрегает управлением своим поместьем, подрывая собственную социальную роль в аграрной России и способствуя отставанию России от переживающего индустриализацию Запада. К тому времени, когда И. С. Тургенев в «Дневнике лишнего человека» (1850) поставил диагноз целому поколению дворян, неспособному к осмысленной деятельности и самовыражению, наследники Онегина вывели русскую литературную традицию XIX века на самостоятельный, но все же тесно связанный с традицией европейского романа путь.

¹⁴ О влиянии Адама Смита на декабристов см. [Цвайнерт 2008:108-12; Лотман 1995: 557].

В этой книге история данной взаимосвязи рассказывается по-новому. В центре моего внимания не Евгений и не прочие «лишние люди» из благородных, о которых только что упоминалось, а их не столь изысканные двойники: люди действия, движимые амбицией, которые упорно появлялись в своей среде вопреки – или же, напротив, в силу – невозможности любой схемы самоопределения в постдекабристской России¹⁵. Питер Брукс полагает, что «определяющей характеристикой современного романа (и буржуазного общества) является отношение к устремлениям, движению вперед не как к объекту сатиры, а всерьез», но особенностью русской литературы XIX века являются не только «лишние» люди, лишенные амбиции, но и ее очарованность амбицией, которую нельзя принимать всерьез [Brooks 1984: 39].

В отличие от свойств «лишнего человека», амбиция не получила должного внимания исследователей литературы эпохи Николая I: пристальное изучение страсти, пронизывающей такие классические произведения, как «Пиковая дама» (1834) А. С. Пушкина, «Записки сумасшедшего» (1835) и «Мертвые души» (1842) Н. В. Гоголя и «Двойник» (1846) Ф. М. Достоевского, давно назрело. Но даже если ему не найдется места на последующих страницах, «лишний человек» – важная отправная точка размышлений в этой книге. Именно на почве «Евгения Онегина» и последующих повествований о бездействии благородного сословия безумная амбиция моих героев выглядит особенно остро. Кроме того, мое исследование сюжетов об амбиции объясняет происхождение сюжетов о бездействии, публиковавшихся в то же самое время; можно предположить, что привлекательность и тех, и других проистекает из постоянной культурной переоценки социальных и экономических стремлений в эпоху правления Николая I.

В десятилетия, являющиеся предметом моего исследования, интерес русских писателей к теме амбиции отчасти вдохновлялся Наполеоном и французскими романами, герои которых подражали этому великому образцу. Одержимость званиями и титулами, а также широкие возможности социальной мобильности благодаря образованию и государственной службе делали амбицию все более значимой для николаевской России. Тем не менее предубеждение высшего сословия против сословия низкого и осуждение мирских устремлений со стороны Русской православной церкви поддерживали пренебрежительное отношение к попыткам социального возвышения путем государственной службы или накопления богатства. Более того, поскольку основными путями к продвижению оставались военная или статская служба, амбиция казалась недостойной и в глазах зарождающейся оппозиционной разночинной интеллигенции. Помимо подобного отношения современников, культурный феномен «самозванства», характерный для российского престола со времен Лжедмитрия (1605–1606), обеспечил теме амбиции особый потенциал повествования – одновременно еретический, революционный и карнавальный [Успенский 1994].

И что же происходит, когда тема амбиции среднего класса постнаполеоновской Франции приходит в постдекабристскую Россию? Куда эта амбиция заведет, и что она будет означать для литературных героев и читателей, вдохновленных ей? «Пиковая дама» Пушкина, «Записки сумасшедшего» Гоголя и «Двойник» Достоевского предлагают один возможный ответ на вопрос о том, куда ведет амбиция в России: в сумасшедший дом. И все-таки, как бы велико ни было искушение приписать подобный исход жестким ограничениям, накладываемым на амбицию или восприятию ее как испорченности, это объяснение будет неполным. На самом деле, русские писатели восприняли понимание амбиции как пути к безумию из Франции, где первые специалисты-психиатры ставили диагноз «амбициозная моноomania» (*monomania ambitieuse*) в качестве доминирующего психологического расстройства в послереволюционную эпоху [Goldstein 2001: 159].

¹⁵ «Лишний человек» является предметом изучения в работах Э. Ченчес, Дж. Кларди и Б. Кларди и Ф. Ф. Сили [Chances 1978; Clardy, Clardy 1980; Seeley 1994].

В отличие от французских авторов, которые в 1830-е годы отошли от клинического понимания амбиции как опасного истерического расстройства, русские писатели вплоть до 1860-х годов патологическую амбицию описывали. История о мономаньяке, одержимом наполеоновским комплексом, который идет на убийство и кражу только для того, чтобы затем впасть в лихорадочный бред, «Преступление и наказание» (1866) Достоевского являет собой пример и показательно негативной оценки амбиции, и ее концептуальной зависимости от французской литературы и культурных эталонов. Наполеоновские претензии героя Достоевского превращают «Преступление и наказание» в явление, аномальное для традиции русского романа. Социальная амбиция, столь продуктивная в сюжетах европейского «романа воспитания», в русской литературе присуща главным образом малым прозаическим формам, где скорее разрушает характер персонажа, чем формирует его. Рисуя амбицию как опасное устремление, которое следует отвергнуть и преодолеть, «Преступление и наказание» также знаменует собой отход от раннего творчества Достоевского, которое, подобно предшествующим ему историям об амбиции Пушкина и Гоголя, трактует эту страсть в духе ироничной двойственности. В своей книге я стремлюсь представить в новом свете эту трактовку и ее влияние на литературные формы.

Главу 1 открывает сравнение представлений об амбиции в России и Франции, которое разъясняет, как дискуссии об амбиции как опасном психическом расстройстве в медицинских и литературных кругах Франции сформировали представления о социальных стремлениях в России XIX века. Вначале я рассматриваю открытость французской патологической модели амбиции и упорное сопротивление последующему французскому опыту ее нормализации на уровне русского языка. Затем я прослеживаю распространение французского клинического понимания амбиции на почве русской литературы в периодической печати 1820-30-х годов и исследую русских персонажей, страдающих этим заболеванием, в «Трех листках из дома сумасшедших» (1834) Ф. В. Булгарина, «Записках сумасшедшего» Гоголя и «Двойнике» Достоевского. Главная задача первой главы – показать, как диссонанс между пониманием амбиции в русской и французской культурах вызвал к жизни противоречивые повествовательные тональности в произведениях Гоголя и Достоевского.

В главе 2 дан анализ того, что противостоит амбиции в гоголевских «Мертвых душах». В этом романе Гоголь одновременно подчеркивает и размывает различие, лелеемое с эпохи романтизма, между якобы заимствованным побуждением *приобретать* и предположительно русским императивом *отдавать*. Ни одного писателя не цитируют чаще, чем Гоголя, когда необходимо подтвердить идею о том, что щедрое гостеприимство – это важнейший элемент русской национальной идентичности, однако «Мертвые души» в действительности представляют собой более неліцеприятный – и откровенно материальный – взгляд на гостеприимство, чем это обычно было принято. В то время как предприимчивый герой разъезжает по провинции и покупает права на умерших крепостных, пользуясь гостеприимством их владельцев, Гоголь приправляет каждое предложение пресловутого «хлеба-соли» поэтикой отвращения. Он соединяет русскую щедрость с малопривлекательной экономикой тела, которая включает в себя и гнивающий институт крепостничества, и вымученную работу желудочно-кишечного тракта. Этот роман, как известно, незаконченный, являет собой кульминацию нарративной щедрости у Гоголя, его склонности позиционировать себя по отношению к читателям в рамках отношений хозяин-гость. Если сравнить «Мертвые души» с ранними украинскими повестями Гоголя, становится ясно, как эти взаимоотношения становились все напряженнее по мере его становления как писателя; его дар становилось все труднее отдавать и еще труднее принимать.

Глава 3 возвращает нас к «Двойнику» Достоевского, смещая фокус внимания от амбиции главного героя к основному инструменту, которым он пользуется для их реализации: деньгам. Что касается денег, то первое, на что обращается внимание в данной книге, это тот факт, что амбициозный герой вовсе не старается их получить, а, напротив, проматывает. Достоевский

живописует противоречивые императивы мелкого чиновника, который нуждается в деньгах как раз для того, чтобы тратить их напоказ. Что еще важнее, неоднозначная культурная ценность денег в данном произведении усугубляется их явно неопределенной экономической ценностью, поскольку манипуляции главного героя с подозрительными денежными знаками размывают различия между настоящими и поддельными ценностями. Учитывая дестабилизацию валютного курса во время финансовых реформ 1839–1843 годов одновременно со становлением реализма в качестве нового эстетического курса в 1840-х годах, я утверждаю, что история российской денежной системы послужила источником эстетики фантастического реализма у Достоевского.

Глава 4 интерпретирует поразительную жизнеспособность классического типа скупца во время, когда амбиция заменила корыстолюбие в качестве квинтэссенции экономической страсти, а специфические в национальном и социальном смысле типы заменили типы универсальные как средство и цель литературного воплощения. Подтверждая неуместность накопительства для того, кто стремится продвинуться в высшем обществе, в «Скупом рыцаре» (1836) Пушкина, гоголевских «Мертвых душах» и «Господине Прохарчине» (1846) Достоевского скупость является антитезой социальной амбиции. Эти произведения основываются на давней – докапиталистической – традиции представления скупцов как эксцентричных литературных персонажей, намеренно изолирующих себя от общества. Однако авторы все же отходят от традиции, отказываясь от сатирического осмеяния или откровенного морального осуждения корыстолюбия, которые были со времен Античности важными компонентами историй о скупцах. Ставя вопрос об изменении культурной значимости идеи обогащения в русском обществе, постепенно подпадающем под воздействие коммерциализации, Пушкин, Гоголь и Достоевский больше озабочены художественным статусом типа скупца, воплощающего устаревшее понимание человеческих страстей, чем моральным статусом жадности. Эти авторы изображают скупца как метатип, на котором можно испытывать новые приемы создания характера и оценивать их.

Рассматривая в основном произведения, опубликованные в России между 1825 и 1855 годами, я не задаю жестко очерченных пространственных, временных или текстуальных рамок. Как и тенденции в литературе, чувства возникают в ответ на исторические события и формируют их, но это не поезд, который прибывает и отправляется по расписанию; они могут и ускользать от политического давления, и подпадать под него. В одно время чувства только зарождаются, в другое – полнее развиваются или утихают. Часто они являют собой эхо прошлого или фиксируют современные события, которые могут происходить где угодно и при совершенно различных обстоятельствах. Как утверждал Раймонд Уильямс, литература в особенности склонна фиксировать те «структуры чувств», которые формируют часть общественного сознания в настоящем, но которым не дано определения ни в доступных словарях, ни в официальных догмах. Поэтому я стараюсь найти свидетельства этих чувств не только в изменяющихся значениях слов русского языка, обозначающих амбицию, гостеприимство и скупость, но также в тех характерных элементах «побуждения, ограничения и тональности», которые, согласно Уильямсу, отмечают собой литературу определенного периода или поколения конкретным «стилем» [Williams 1977:132–133]. Изучаемые мной произведения очевидно объединены побуждениями, которые движут персонажами и авторами, отличаясь сильнее всего степенью ограничений и тональностью. К примеру, даже если темы берутся одни и те же (большая амбиция, скупость, литературный обмен между Россией и Францией), Пушкин и Достоевский занимают позиции на разных концах диапазона от лаконичности до логореи и от гармонии до диссонанса. Несмотря на это, преимущество трактовки правления Николая I как периода в истории литературы заключается в том, что это дает возможность изучать произведения двух названных авторов в едином ключе. Светскую уравновешенность Пушкина и склонность Достоевского к избыточному и неудобному следует толковать как взаимно прояс-

няющие друг друга способы реагировать на доминирующие экономические и эмоциональные условия в царствование Николая I.

Я не стремлюсь дать всеобъемлющий анализ всех значимых произведений, опубликованных с 1825 по 1855 год. Безусловно, внимание к страстному стремлению к социальному продвижению или к обогащению формирует картину, в которой женщины и представители низшего сословия остаются на заднем плане. Дворяне не только доминировали в сфере литературы, оставляя наиболее яркие свидетельства своего эмоционального опыта, но и занимали также наилучшее положение с точки зрения социума и закона, чтобы пытаться реализовать экономические проекты, которые я исследую. В частности, именно мужчины из числа обедневшего или мелкого дворянства, или же те, кто получил дворянское звание на государственной службе, выступают в роли главных героев общественной борьбы в литературе эпохи Николая I. Ограничение доступа к образованию и заработку для женщин делало замужество почти единственным способом социальной мобильности, и даже здесь их право принимать решения было очерчено довольно жесткими рамками. В моем представлении такой же вытесненной из системы социальных отношений группой являются крестьяне, которые еще в меньшей степени были представлены среди пишущей и читающей публики и практически были лишены возможности покинуть поместье, где родились. Даже с учетом того, что экономический факт крепостничества и растущие сомнения в его устойчивости или моральной оправданности являются центральными темами культурной мифологии русского гостеприимства, анализ которой дается в главе 2, крепостные и их эмоции в основном остаются для Гоголя и других писателей невидимыми или непонятными. Представление о русском обществе, основанное на моем анализе экономических стремлений, подтверждает меру зависимости чувств и их выражения от гендерной и классовой политики.

Возможно, история российской экономической мысли поможет ответить на вопрос, почему в период правления Николая I писатели так старались объяснить эти и другие материальные основы эмоций. В то время как традиция литературной критики очевидно возлагала на литературу задачу выражения, теоретического осмысления и культивирования чувств, политическая обстановка в России способствовала перенесению в художественный текст дискуссии на экономические темы. Литература стала основной сценой формирования представлений об экономике, и историки российской экономической мысли того периода часто обращаются именно к художественным произведениям. Несомненно, политическая тональность любой дискуссии на экономическую тему, где неизбежно поднимались вопросы прав собственности и верховенства закона, означала, что в самодержавной России писать об экономике всегда было делом рискованным¹⁶. Г. фон Шторх (1766–1835), учитель великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I) и его брата Михаила, в предисловии к своему «Курсу политической экономии, или Изложению начал, обуславливающих народное благоденствие» (*Cours d' economic politique ou exposition des principes qui determinent la prosperite des nations*), 1815) осторожно замечает: «Политическая экономия затрагивает иногда довольно щекотливые вопросы» [Шторх 1881:1]. Напрямую (порой вплоть до плагиата) заимствуя идеи Смита и Ж.-Б. Сэя, Шторх был вынужден решать «деликатную» задачу представить царю такие основополагающие принципы классической политэкономии, как преимущество свободных предпринимательских отношений между свободными гражданами и первостепенная важ-

¹⁶ Эта рискованность подтверждается судьбой таких пионеров экономического мышления, как Ю. Крижанич (1617–1683) и И. Т. Посошков (1652–1726). Крижанич, хорватский ученый и искатель приключений, жил в России, написал трактат об экономических проблемах государства в период правления царя Алексея Михайловича (1645–1676), был сослан в Сибирь по подозрению в намерении ниспровержения власти еще до написания своего трактата. После завершения своего труда ему пришлось прибегнуть к содействию иностранных дипломатов, чтобы бежать из России [Krizanic 1985: xii]. Успешный купец Посошков составил в 1724 году трактат под названием «Книга о скудости и богатстве» (издана впервые в 1842 году) как рекомендацию для Петра I. Он был арестован вскоре после завершения книги и умер в Петропавловской крепости [Shirokograd 2008: 26–28].

ность справедливой и эффективной судебной системы, способной разрешать споры по вопросам собственности. Ни крепостное право, ни неразвитая судебная система в России не могли соответствовать подобным догматам политической экономии, которая, войдя в канун XIX столетия в сферу академической науки и получив официальный статус в царствование Александра I (1801–1825), при новом императоре попала под подозрение властей. Восстание декабристов даже заставило Николая I задуматься о том, не упразднить ли вовсе преподавание политической экономии как научной дисциплины в Московском университете [Цвайнерт 2008: 62].

Хотя этого в итоге не случилось, развитие политэкономии в последующие десятилетия тем не менее замедлилось. В царствование Николая I вышел только один новый учебник – «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии» (1847) А. И. Бутовского (1817–1890). Подобно большинству его предшественников, пишущих на тему российской экономики, Бутовский свободно заимствовал западные источники, а его труд отмечен характерной для русской экономической (и религиозной) мысли чертой – нежеланием разграничить понятия материального и духовного благосостояния [Цвайнерт 2008:39]. По мнению Бутовского, литература сама по себе участвует в экономической деятельности, и не только как предмет торговли, но и как одно из тех «невещественных» благ, которые, наряду с «промыслами вещественными», составляют национальное благосостояние [Бутовский 1847:428,461–464]. Вторя этому вниманию к нематериальным ценностям в русской экономической науке, русская литература обычно связывает национальную идентичность с духовными и эмоциональными понятиями, в прямой оппозиции к тому, что ей представляется западным материализмом. Таким образом, разделения дискурсов экономики и эмоций в той степени, в которой это характерно для французской и британской экономической мысли XIX века, в России не произошло. Однако оно явило собой отправную точку для осмысления национальной специфики русской литературы.

Проследивая то искренние, то ироничные попытки определения русскости, я надеюсь расширить словарь, доступный для описания взаимоотношений между русской и европейской литературой. Каждая из последующих глав будет посвящена образу, совмещающему экономическое и эмоциональное, который отражает литературное столкновение России и Запада. В главе 1 это *заражение* (идеями и настроениями), в главе 2 – *гостеприимство*, в главе 3 – *подделка* и в главе 4 – *накопительство*¹⁷. Этот список ни в коем случае не полон. Действительно, ученые, занимающиеся XVIII–XIX веками, уже сформировали диапазон понятий, эффективно описывающих вовлеченность России в европейскую литературу и культуру: от «международного обмена в литературе» и «культурного импорта» до «синкретизма», «имперсонации», «диалога» и «дистилляции» [Томашевский 1960:171; Клейн 2005: особ. 319–323; Todd 1986: 2; Greenleaf 1994: 4; Meyer 2008: 10; Golburt 2014: 194]. Предлагаемые мною новые термины должны дополнить уже существующие, подчеркивая разнообразие подходов русских писателей к задаче взаимодействия с европейской литературой при помощи акцента на экономические и эмоциональные образы и сюжетные мотивы.

Моя цель – не выяснить, что такое эмоции или как они формируются, но использовать историю эмоциональных понятий для истолкования литературных текстов. Поэтому я использую такие современные понятия, как эмоция (*emotion*), аффект (*affect*) и чувство (*feeling*), а также прилагательные эмоциональный (*emotional*) и аффективный (*affective*),

¹⁷ Давая эти образы для сравнения, я следую примеру Н. Мелас. В каждой главе своей книги она представляет «литературно-теоретический образ для этой несопоставимости, в котором можно найти почву для сравнения, но не основу для эквивалентности», в том числе «антагонист», «диссимилиация», «сравнение» (*Com-paraison*), «отношение», «исковерканная метафора» и «катастрофическая миниатюризация» [Melas 2007: xiii].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.